

Хаким Бей.

Временные

автономные зоны

1991, источник: «Автономные зоны: временные и постоянные» (CHAOSSS/PRESS, 2020), перевод — Й. Грисселл.

- [Пиратские утопии](#)
- [В ожидании революции](#)
- [Психотопология повседневности](#)
- [«Ушли на Кроатоан»](#)
- [Музыка как организующий принцип](#)
- [Воля к власти как исчезновение](#)
- [Крысиные норы в информационном Вавилоне](#)
- [Приложение А. Хаотическая лингвистика](#)
- [Приложение Б. Прикладной гедонизм](#)
- [Приложение В. Цитаты замечательных людей](#)
- [Примечания](#)

Пиратские утопии

«В этот раз я прихожу как победоносный Дионис, который сделает Землю праздником... Не сказать, чтобы у меня было много времени...» — Фридрих Ницше (из последних «безумных» писем Козиме Вагнер)

Морские разбойники и корсары XVIII века создали «информационную сеть», охватившую весь земной шар: эта сеть, хотя и была примитивной и посвящённой главным образом промыслам довольно грязного характера, функционировала, тем не менее, образцово. Эта сеть включала труднодоступные логова, разбросанные по островным гаваням, где пиратские корабли могли пополнить запасы пресной воды и провизии, а награбленные товары обменивались на предметы роскоши и первой необходимости. На некоторых из этих островов поддерживались «идейные общины», самодостаточные мини-сообщества, сознательно строившиеся вне закона с твёрдым намерением продолжать в том же духе, чтобы подарить своим участникам возможность прожить пусть недолгую, но зато развесёлую жизнь. Несколько лет назад я перелопатил множество второстепенных источников, посвящённых пиратскому ремеслу, в надежде отыскать какие-нибудь материалы о подобных анклавах. Однако в итоге у меня сложилось впечатление, что к настоящему времени среди историков не нашлось никого, кто счёл бы, что подобный предмет достоин исследования. (Эту тему затрагивал Уильям Берроуз, а также британский анархист Ларри Лоу в своих поздних работах, однако до сих пор никто не пытался систематически исследовать этот предмет.) Поэтому я переключил своё внимание на первоисточники и в итоге сформулировал собственную теорию, некоторые из аспектов которой я изложу в настоящем эссе. Я назвал эти поселения «Пиратскими утопиями».

Недавно Брюс Стерлинг, один из самых ярких писателей-фантастов, пишущих в жанре киберпанк, опубликовал роман, действие которого происходит в ближайшем будущем, а его сюжет построен на предположении, что упадок политических систем приведёт к распространению децентрализованных экспериментальных форм жизнеустройства: гигантских корпораций, собственниками которых будут сами рабочие, независимых анклавов, обитатели которых будут промышлять «цифровым пиратством», островков зелёной социал-демократии, коммун, построенных на принципе упразднения труда, зон свободной анархии и т.п. Информационная экономика, обеспечивающая такое многообразие форм, называется «Сетью», а эти анклавы именуются «Островами в сети» (и это же название вынесено на обложку книги).

Средневековые ассасины основали «Государство», образованное сетью труднодоступных горных долин и крепостей, разнесённых на тысячи миль друг от друга и стратегически неуязвимых для нападения извне, — коммуникация между ними осуществлялась посредством тайных агентов, а государство это находилось в состоянии войны со всеми политическими образованиями и своей главной целью объявило познание. В свете сегодняшних технологий, достигших своей кульминации в космических спутниках-шпионах, мысли о подобной автономии покажутся наивными мечтами. С пиратскими островами

покончено навсегда! В будущем те же самые технологии — освобождённые от любых форм политического контроля — сделают возможным превращение всего мира в россыпь *автономных зон*. Однако в настоящее время подобные концепции можно смело отнести к разряду научной фантастики — всё это голые спекуляции.

Так неужели мы, дети нашей эпохи, обречены на то, чтобы никогда не вкусить подлинной автономии, никогда — хотя бы даже на одно мгновение — не ступить ногой на клочок земли, над которым властвует одна лишь свобода? Неужели всё, что нам остаётся, это ностальгировать по прошлому или будущему? Неужели нам остаётся лишь ждать, пока весь мир сбросит с себя политическую власть, прежде чем хоть один из нас сможет провозгласить, что он отведал вкус настоящей свободы? Эта мысль не выдерживает суда логики и эмоций. Рассудок твердит, что невозможно сражаться за то, что неизвестно, а сердце бунтует при мысли о том, сколь жестока вселенная, если из всех бесчисленных поколений только *нашему* выпало стать свидетелями столь многих примеров вопиющей несправедливости.

Тот, кто утверждает «я не буду свободен, пока не будет свободно всё человечество (или все разумные существа)», попросту впадает в некий нирванический ступор: рассуждать так — значит отречься от собственной человечности, определять себя как заведомого неудачника. По моему мнению, экстраполируя из прошлого и будущего всё то, что известно нам об «островах в сети», мы можем набрать достаточное количество свидетельств, чтобы утверждать, что в наши дни своеобразные «свободные анклав» не только могут быть созданы, но и уже существуют. По итогам всех своих исследований и размышлений я сформулировал концепцию **ВРЕМЕННЫХ АВТОНОМНЫХ ЗОН** (сокращённо — **ВАЗ**).

Несмотря на то, сколь убедительным покажется мой ход мысли, я не рассчитываю, что изложенная мной концепция **ВАЗ** будет воспринята как нечто большее, нежели простое эссе («упражнение»), предложение или даже поэтическая блажь. Невзирая на то, что в моей речи периодически проскальзывают нотки рантерского энтузиазма, я вовсе не пытаюсь сконструировать политическую догму. По сути, я намеренно воздержался от того, чтобы попытаться дать определение **ВАЗ**, — я лишь описываю круги вокруг этой концепции, очерчивая траектории для возможных дальнейших исследований. В конце концов, концепция **ВАЗ** практически не требует разъяснений. Если ей суждено завоевать всеобщее признание, её смысл будет прост и понятен... на практике.

В ожидании революции

Как же получается, что «мир, перевернутый вверх дном», всегда находит способ *Выправиться*? Почему за каждой революцией следует реакция с неотвратимостью смены времён года в аду? *Восстание*, или его латинский эквивалент, *инсurreкция*, — этими словами историки обозначают революции, потерпевшие крах, — движения, развивавшиеся вопреки предначертанной траектории, утверждённой всеобщим консенсусом: революция, реакция, предательство, образование ещё более могущественного и даже ещё более репрессивного Государства; поворот колеса, извечное повторение истории в её спиралевидном движении к своему апогею: извечный солдатский сапог на лице человечества.

Своей неспособностью следовать заданной траектории *восстание* подразумевает возможность движения вне границ и за пределами гегелевской спирали того самого «прогресса», который, в тайне ото всех, представляет собой не что иное, как порочный круг. *Surgo* — лат. «восставать», «прорываться». *Insurgo* — «восставать», «подниматься». Самораскручивающийся процесс. Прощальный взмах в сторону той жалкой пародии кармического возвращения, исторической тщетности революции. «Да здравствует революция!» — этот лозунг мутировал из набата в бушлат, в синоним коварной псевдогностической ловушки судьбы, в кошмар, и как бы мы ни пытались, нам никогда не вырваться из тисков этого дурного зона, этого инкуба под названием «Государство» — одно Государство сменяется другим, и каждой следующей «небесной сферой» заправляет очередной ангел зла.

Но если История ТОЖДЕСТВЕННА «Времени», на что она и претендует, то восстание — это момент, который выскакивает из Времени и не принадлежит ему, нарушая «закон» хода Истории. А если Государство ТОЖДЕСТВЕННО Истории, на что оно претендует, то восстание — это запретный момент, непростительное отрицание диалектики — раскачивание шатра и вылет в трубу, шаманский манёвр, выполненный под «невозможным углом» к вселенной. Как утверждает История, Революция стремится стать «перманентной» или, по крайней мере, длительной, тогда как восстание — явление «временное». В этом смысле восстание сродни «пиковому переживанию» в противоположность повседневному или «обыденному» сознанию и опыту. Подобно фестивалям, восстания не могут происходить каждый день — иначе они утратили бы свою «неординарность». Однако эти всплески интенсивности придают форму и смысл всей человеческой жизни. Шаман возвращается — невозможно вечно торчать на крыше, — но теперь всё иначе, произошли некие сдвиги и сопряжения — произошли *изменения*.

Вы можете возразить, что всё это ввергает в отчаяние. Как же быть с анархистской мечтой, государством без Государства, Коммуной, *долговременной* автономной зоной, свободным обществом, свободной *культурой*? Неужели мы должны расстаться с надеждой в обмен на какой-то там экзистенциалистский *acte gratuit*[1]? Смысл ведь не в том, чтобы изменить своё

сознание, а в том, чтобы изменить весь мир.

Соглашусь: эта критика справедлива. И всё же я позволю себе возразить, приведя два аргумента. Во-первых, до сих пор ни одна революция не приблизила нас к этой мечте. Видение воплощается в жизнь в моменты восстания — но как только наступает триумф «Революции» и возвращается Государство, все мечты и идеалы сразу же оказываются преданными. Лично я не оставил надежду на изменения и даже продолжаю в них верить — но само слово «Революция» не внушает мне никакого доверия. Во-вторых, даже если откажемся от революционной повестки и заменим её концепцией *всеобщего мятежа, спонтанно принимающего форму созревшей анархической культуры*, мы будем вынуждены признать, что текущая историческая ситуация отнюдь не благоприятствует столь масштабному начинанию. Лобовое столкновение с патологическим Государством, Государством мегакорпоративной информационной эпохи, империей Спектакля и Симуляции заведомо обречено на провал и способно стать лишь ещё одним примером напрасного мученичества. Эта махина ошетибилась на нас всеми своими орудиями, в то время как наш незатейливый арсенал не может быть обращён ни на что, кроме как на точку бесконечного ускользания, неподатливую пустоту, Призрак, способный задушить малейшую искру информационной эктоплазмы в этом обществе капитуляции, над которым безраздельно властвует образ Копы и всепоглощающий взгляд телеэкрана.

Короче говоря, мы вовсе не пытаемся представить ВАЗ в виде некоей самодостаточной и эксклюзивной цели, заменяющей все прочие цели, формы организации или тактики. Мы предлагаем её, поскольку она несёт в себе всю полноту опыта настоящего бунта и в то же время не обязательно влечёт за собой насилие и мученичество. ВАЗ подобна восстанию, избегающему прямого столкновения с Государством, тактической герилье, призванной отбить определённую территорию (участок земли, промежуток времени или область воображения), после чего ей надлежит раствориться, чтобы возникнуть вновь уже в другом месте/времени *ещё до того*, как Государство успеет обрушить на неё всю свою мощь. Поскольку Государство в первую очередь озабочено поддержанием Симуляции, нежели поисками сути, ВАЗ может тайно «оккупировать» эти области для своих карнавальных целей и в течение довольно долгого времени существовать в относительно мирных условиях. Быть может, каким-то небольшим ВАЗ удавалось не привлекать к себе внимания на протяжении всего своего жизненного цикла, подобно некоторым деревенским анклавам, которые никогда не интересовались Спектаклем и никак не проявляли себя за пределами той самой реальной жизни, что ускользает от взора агентов Симуляции.

Вавилон принимает порождённые им же абстракции за нечто реальное; именно *внутри* этого диапазона погрешности кроется возможность существования ВАЗ. Создание ВАЗ может быть сопряжено с тактическим применением насилия и оборонительными мерами, однако главным источником её силы является способность оставаться невидимой — Государство не в силах её распознать, потому что История не располагает соответствующей терминологией. Как только ВАЗ присваивается какое-нибудь имя (через репрезентацию, опосредованность), ей следует раствориться — и она *неизбежно* растворится, — оставив вместо себя пустую скорлупу, лишь чтобы возникнуть снова где-нибудь ещё, по-прежнему оставаясь невидимой, ведь она не может быть определена в терминах Спектакля. Таким образом, ВАЗ является идеальной тактикой в эпоху, когда Государство запустило свои

щупальца повсюду и обладает беспредельным могуществом, будучи при этом сплошь изъеденным трещинами и испещренным кавернами. А поскольку ВАЗ олицетворяет собой микрокосм той самой «анархистской мечты» о свободной культуре, я не могу помыслить лучшую тактику, способную приблизить нас к этой цели и в то же время оставляющую нам возможность наслаждаться её плодами уже здесь и сейчас.

Итак, реализм требует, чтобы мы не только перестали уповать на «Революцию», но и чтобы мы перестали её *желать*. Другое дело «восстание» — мы хотим, чтобы они случались как можно чаще, и готовы мириться с возможным насилием. И хотя *спазмы* Государства-симуляции являли бы собой представление исключительно «зрелищное», зачастую лучшей и наиболее радикальной тактикой был бы отказ от участия в зрелищном насилии, *исход* с территории симуляции, исчезновение.

ВАЗ — это военный лагерь онтологов-партизан: за внезапной атакой следует столь же стремительное отступление. Необходимо следить, чтобы весь клан находился в постоянном движении, даже если речь идёт всего лишь о данных во Всемирной паутине. ВАЗ должна уметь защищаться; однако, по мере возможности, и «атака», и «оборона» не должны навлекать на себя насилие со стороны Государства, поскольку такое насилие отныне *лишено всякого смысла*. Атака направлена на структуры контроля, то есть, собственно, на идеи: оборона означает «невидимость», особое *боевое искусство*, а «неуязвимость» сродни «окультурному» знанию, доступному мастерам боевых искусств. Завоевания «военной машины кочевников» не привлекают внимания, и она снимается с места прежде, чем в карту будут внесены изменения. А что касается будущего, то только будучи автономным можно *планировать* автономию, организовываться ради её достижения, её создавать. Это самораскручивающийся процесс. Первый шаг в чём-то сродни *сатори* — осознание того, что ВАЗ начинается с простого акта осознания [2].

Психотопология повседневности

Изначально концепция ВАЗ возникла в контексте критики Революции и обоснования преимуществ Восстания. В контексте первого второе понимается как проигрыш, однако, исходя из основ психологии освобождения, для нас *бунт* олицетворяет куда более интересную возможность, чем любая «успешная» революция, будь то буржуазная, коммунистическая, фашистская и т.п. Ещё одним стимулом к развитию концепции ВАЗ послужил исторический феномен, который я называю «завершением карты». Последний клочок земли, на который не распространяло свою власть никакое из национальных государств, был поглощён в 1899 году. В черед веков наше столетие стало первым, лишённым *terra incognita* и всяких фронтиров. Национальная принадлежность — самый высокий из принципов управления миром; ни одну плешивую скалу в Южных морях нельзя оставить *ничьей*, никакую удалённую лощину или даже Луну и другие планеты. В этом — апофеоз «территориального бандитизма». Ни один квадратный дюйм поверхности Земли не должен ускользнуть от законодателей и сборщиков налогов... но это в теории.

«Карта» — это абстрактная политическая сетка, гигантская *афера*, подкрепляемая политикой кнута и пряника, проводимой «Экспертом» в лице Государства до тех пор, пока для большинства из нас карта не станет *тождественна* территории: забудьте об «Острове Черепахи»[3], говорите правильно — «США». И в то же время именно потому, что карта — это абстракция, она не может покрыть Землю в масштабе один к одному. Во всей фрактальной нетривиальности реальной географии карта способна распознать лишь размерные сетки. Несоизмеримая и скрытная сложность неподвластна масштабной линейке. Карта не достоверна — карта *не может быть* достоверной.

Итак, тема революции закрыта, но это открывает возможность восстания. На какое-то время мы сосредоточим усилия на скоротечных «коротких замыканиях», стараясь держаться подальше от любых «окончательных решений».

И ещё: хотя с картой покончено, этого не скажешь об автономной зоне. Образно говоря, она разворачивается во фрактальных измерениях, невидимых для картографии Контроля. И тут нам следует ввести понятие *психотопологии* (а также *топографии*) как альтернативную «науку», противопоставленную геодезической и картографической деятельности Государства, равно как и «психическому империализму». Только психотопография способна составить карты реальности в масштабе один к одному, потому что только человеческий ум обладает достаточной сложностью, чтобы суметь сконструировать модель реальности. Но карта в натуральном масштабе не может «контролировать» свою территорию, поскольку она практически с ней совпадает. Она может применяться лишь в качестве *подсказки* — условно говоря, она может лишь *указывать* на определённые черты рельефа. Мы ищем

«пространства» (географические, социальные, культурные, воображаемые), обладающие потенциалом к тому, чтобы реализовать себя в качестве автономных зон — и мы также выискиваем моменты, когда эти пространства остаются относительно доступными: будь то из-за недосмотра со стороны Государства, или потому что они по какой-то причине ускользнули от внимания картографов, или в силу каких-то других обстоятельств. Психотопология — это искусство *высматривать* потенциальные ВАЗ.

Впрочем, факторы завершенности Революции и карты являются лишь негативными предпосылками ВАЗ; далее мы подробно рассмотрим и позитивные предпосылки. Энергии одной только реакции недостаточно для «манifestации» ВАЗ. Восстание должно осуществляться и *ради* чего-то ещё.

1. Во-первых, следует сказать о естественной антропологии ВАЗ. Нуклеарная семья служит базовым элементом для построения общества консенсуса, но не годится в качестве такового для ВАЗ. (Андре Жид: «Семьи, я ненавижу вас! ...ревниво охраняемое счастье!») Судя по всему, нуклеарная семья и сопутствующие ей «эдиповы муки» возникли ещё в эпоху Неолита в результате «аграрной революции», повлекшей за собой нехватку ресурсов и насильственное утверждение иерархии. Модель, обнаруживаемая во времена Палеолита, представляется и более первобытной, и более радикальной: речь идёт о так называемой праобщине. Численность типичной кочевой или полукочевой *праобщины* охотников/собирателей составляла порядка 50 человек. В контексте более многочисленных первобытных сообществ функцию праобщины выполнял род внутри одного племени или братства вроде инициатических и тайных обществ, союзов охотников или воинов, «детских республик» и так далее. Если нуклеарная семья возникает по причине нехватки ресурсов (и характеризуется проистекающей из неё скарденностью), то предпосылкой создания праобщины является изобилие — и это выражается в присущей ей расточительности. Семья *закрыта*: причина этого в генетических факторах, в желании мужчин *обладать* женщинами и детьми, в иерархической тотальности аграрного/индустриального общества. Праобщина *открыта* — разумеется, не для каждого, а для родственной группы, для посвящённых, присягнувших на верность узам любви. Праобщина не включена в более широкую иерархию, а скорее вплетена в горизонтальную сеть, объединённую на основе общего уклада, расширенного родства, взаимных обязательств и альянсов, духовной близости и т.д. (В сообществах американских индейцев и по сегодняшний день сохраняются некоторые черты этой структуры.)

Да и в нашем Обществе-симуляции пост-Спектакля продолжают действовать — чаще всего подспудно — многие из сил, компенсирующих ущербность нуклеарной семьи и способствующих возрождению праобщины. Поломки в структуре Работы отзываются эхом в надтреснутой «стабильности» домашней и семейной ячейки. Сегодня отдельная «праобщина» включает друзей, бывших супругов и любовников, бывших коллег и людей, встреченных на каких-либо сборищах, компании с общими интересами, участников всевозможных кружков по интересам, друзей по переписке и т.д. Всё больше людей начинает осознавать, что нуклеарная семья представляет собой *капкан*, культурную сточную яму, незримое невротическое схлопывание расщеплённых атомов — и само по себе возникает очевидное противодействие, выражающееся в практически бессознательном стремлении заново открыть для себя более архаичные и в то же время более

постиндустриальные по своему характеру возможности, предлагаемые праобщиной.

2. ВАЗ как *фестиваль*. Некогда Стивен Пёрл Эндрюс, размышляя о том, на что будет похоже анархическое общество, высказал идею званого ужина, на котором все властные структуры растворяются, уступая место пиршеству и торжеству (см. «Приложение В»). Здесь уместно было бы вспомнить Фурье, с его концепцией чувственных страстей как основы общественной стратификации — на основе тонкости «осязания» или «гастрософических» талантов того или иного человека, — и его восторженной одой, посвящённой преимуществам обоняния и вкуса, столь часто игнорируемым широкой публикой. Такие древние традиции, как юбилей и сатурналии, возникли из интуитивного осознания того факта, что некоторые события лежат вне области «обыденного времени», этой измерительной рейки Государства и Истории. Эти празднества в буквальном смысле заполняли пробелы в календаре — так называемые *интеркалярные интервалы*. К началу эпохи Средневековья почти треть всех дней в году приходилась на праздники. Быть может, бунты против календарной реформы вспыхивали не столько по причине возмущения из-за «пропажи одиннадцати дней»[4], сколько из-за ощущения, что представители имперских учёных сословий сговорились между собой, чтобы изъять из календаря эти пробелы, воплощавшие в себе людские вольности — а это явный *coup d'état*, картографирование года, насильственный захват времени как такового, превращение органичного космоса во вселенную как часовой механизм. Иными словами, смерть фестиваля.

Участники всех восстаний отмечали их сходство с карнавалом, даже в пылу вооружённой борьбы, несмотря на все опасности и риски. Восстания подобны сатурналиям, выскользнувшему (или вычеркнутому) из интеркалярных интервалов, обретая при этом свободу вспыхнуть где угодно и когда угодно. Освободившись от временных и пространственных уз, они, тем не менее, не утратили дара предчувствовать, когда обстоятельства станут достаточно зрелыми, как и связи с *genius loci*[5]; наука психотопологии призвана выявлять «энергетические потоки» и «места силы» (заимствуя оккультную метафору), локализирующие ВАЗ в пространстве и времени, или, по крайней мере, определять, насколько ВАЗ соотносится с конкретным моментом и местом.

Средства массовой информации призывают нас «праздновать каждое мгновение жизни» в сомнительном слиянии потребительских товаров и спектакля, образующем то самое *несобытие* голой репрезентации. В ответ на эту непристойность мы, с одной стороны, можем полагаться на целый спектр возможных форм *отказа* (задокументированных ситуационистами, Джоном Зерзаном, Бобом Блэком и др.) — и, с другой стороны, на пробуждение *фестивальной культуры*, неподвластной самозванным менеджерам нашего досуга и даже спрятанной от них. «Право на вечеринку нужно отвоевать» — фактически, здесь мы имеем дело не с пародией на радикальную борьбу, а с её новой манифестацией, соответствующей духу эпохи, которая предлагает ТВ и телефоны в качестве способов «достучаться» до других человеческих существ и «прикоснуться» к ним, способов «Быть рядом!».

Пёрл Эндрюс был прав: званый пир уже несёт в себе «зерно нового общества, вызревающего в тесной ракушке старого мира» (из преамбулы к уставу Индустриальных рабочих мира). «Родоплеменные собрания» в духе 60-х, лесные анклавы эко-саботажников, идиллический

Белтейн неоязычников, анархистские конференции, феерии гей-парадов... Гарлемские вечеринки на съёмных квартирах в 20-е годы, ночные клубы, банкеты, старомодные либертарные пикники — нам необходимо понять, что в некотором смысле все они уже являются «освобождёнными зонами» или, по крайней мере, потенциальными ВАЗ. Неважно, приглашены ли туда лишь некоторые друзья, как в случае со званым обедом, или тысячи гуляк, как в случае с «Be-In»[6], любой праздник «открыт», поскольку он начинается не «по приказу»; и хотя он может быть запланирован наперёд, пока он не «состоится» в действительности, он не состоятелен. Элементу спонтанности отводится ключевая роль.

Суть праздника: общение лицом к лицу; группа людей объединяет усилия, чтобы удовлетворить свои общие потребности — в пище или развлечениях, в танце, общении, искусстве жизни или, может быть, даже в эротическом наслаждении, или в создании коллективных произведений искусства, или в достижении самого пика блаженства — короче говоря, речь идёт о «союзе эгоистов» (в терминах Штирнера) в чистейшей его форме — или, в терминах Кропоткина, о базовой биологической потребности во «взаимопомощи». (Кроме того, здесь было бы уместно привести пример «экономики щедрости» Жоржа Батая и его теории, основанной на культуре потлача.)

3. Жизненную силу, с помощью которой ВАЗ формирует реальность, олицетворяет концепция «психического номадизма» (который мы также иронически называем «безродным космополитизмом»). Некоторые аспекты этого феномена обсуждались в «Трактате о номадологии» Делёза и Гваттари, в сборнике «Driftworks» Лиотара и в работах других авторов, вошедших в сборник «Oasis» издательства Semiotext (e). Здесь мы используем термин «психический номадизм» вместо «городского номадизма», «номадологии», «дрейфа» и т.п., лишь чтобы объединить все эти термины в рамках одной нестрогой категории, призванной помочь нам в изучении становления ВАЗ. «Смерть Бога», в некотором смысле ознаменовавшая утрату стержня для всего европейского проекта, подготовила почву для постидеологического мировоззрения, допускающего множество перспектив и способного свободно и «внеисторично» перемещаться между философией и родоплеменной мифологией, естественными науками и даосизмом — способного впервые взглянуть на вещи глазами какого-нибудь златокрылого жука, получив фасеточную картину совершенно иного мира.

Но такое зрение было приобретено ценой принадлежности к эпохе, в которой жажда скорости и «товарный фетишизм» породили тиранию мнимого единства, имеющего свойство размывать любые культурные различия и границы индивидуальности, в результате чего «любое место становится неотличимо от другого». Этот парадокс создаёт «цыган», психических странников, движимых влечением и любопытством, скитальцев, которым чужда личная преданность (и, по сути, менее всего они преданны «Европейскому проекту», утратившему всё своё очарование и жизненную силу) и которые не привязаны ни к какому конкретному времени или месту, постоянно блуждая в поисках разнообразия и приключений... Под это описание подходят не только художники и интеллектуалы высокого полёта, но и трудовые мигранты, беженцы, «бездомные», туристы и обитатели трейлеров и автофургонов — как и все те, кто «странствует» по Сети, даже если они вообще не выходят из спален (или те, кто, подобно Генри Торо, «много странствовал — по Конкорду»); наконец, к ним мы причисляем и «всех вообще», каждого из нас, чья жизнь проносится в окне

автомобиля, в круговороте летних отпусков, в экранах телевизоров, за чтением книг, просмотром кинофильмов, разговорами по телефону, в поисках новой работы, «образа жизни», религии, диеты и т.д. и т.п.

Психический номадизм как *тактика* — то, что Делёз и Гваттари метафорически окрестили «машинной войны» — смещает парадокс из сферы пассивного в сферу активного или, возможно даже, «воинственного». Последняя агония «Бога» и его предсмертные судороги тянутся уже так долго — вспомним хотя бы такие их формы, как капитализм, фашизм и коммунизм, — что остаётся ещё широкий простор для «творческого разрушения» от рук постбакунистов и постницшеанцев, этих командос или апачей (то есть, буквально — «врагов») старого Консенсуса. Эти кочевники осуществляют *razzia*[7], в их венах течёт кровь корсаров, они — вирусы; они нуждаются в ВАЗ и жаждут их, лагерей из чёрных шатров под звёздным небом пустыни, интерзоны, укреплённые и сокрытые от глаз оазисы вдоль потаённых караванных путей, участки, «отвоёванные» у джунглей и бесплодных пустошей, запретные зоны, чёрные рынки и подпольные базары.

Эти кочевники намечают свой курс по неведомым звёздам — ими могут быть серебристые отсветы кластеров данных в глубинах киберпространства или даже галлюцинации. Нанеси территорию на карту; поверх неё расчерти контуры политической трансформации; наложи на это карту Сети, особенно контр-Сети, с её акцентом на скрытую передачу информации и логистику подполья, — наконец, поверх всего наложи карту в масштабе один к одному, карту творческой интуиции, эстетики и личных ценностей. И тогда полученная схема обретёт жизнь, а неожиданные странности и вспышки энергии, сгустки света, потайные туннели и яркие сюрпризы вдохнут в неё душу.

«Ушли на Кроатоан»

Мы не намерены давать определение ВАЗ или догматизировать по поводу того, как она *должна* создаваться. Вместо этого хотим доказать, что она уже была создана, будет создана и создаётся сейчас. Поэтому было бы куда полезнее рассмотреть некоторые из современных ВАЗ и тех, что существовали в прошлом, а также порассуждать по поводу её будущего облика; сконструировав несколько прототипов, мы сможем оценить потенциальный масштаб этого сложного феномена и, возможно даже, нащупать контуры самого «архетипа». Вместо того чтобы замахиваться на некий энциклопедический проект, мы применим технику беспорядочных мазков, мозаичных озарений, и в качестве отправной точки для нашего исследования, выбранной достаточно случайным образом, мы возьмём поселения Нового света XVI–XVII веков. Открытие «нового» света с самого начала задумывалось как *окультурная операция*. Похоже, что авторство концепции «магического империализма» принадлежит магу Джону Ди, духовному советнику Елизаветы I, который заразил этой идеей целое поколение. Его энтузиазм подхватили и Ричард Хаклюйт с Уолтером Рэли, и последний использовал свои связи в «Школе ночи» — подпольном кружке прогрессивных мыслителей, аристократов и посвящённых — дабы способствовать исследовательскому, колонизаторскому и картографическому проекту. Шекспировская «Буря» стала пропагандистским памфлетом этой новой идеологии, а колония Роанок — первым показательным экспериментом.

В глазах алхимиков Новый свет ассоциировался с *первоматерией* или *гилеей*, «естественным состоянием», невинностью и бесконечным потенциалом («Виргиния»[8]), хаосом или предначальной бесформенностью, служившей основой для трансмутации, в результате которой алхимику надлежало получить «чистое золото», то есть достичь духовного совершенства, а заодно и материального благополучия. Однако такое видение алхимиков отчасти проистекает из их неподдельного и тайного восхищения, которое они питали к сырой, первозданной материи, и зачарованности её бесформенностью, которая нашла своё воплощение в образе «индейца»: «человека» в *природном* состоянии, не испорченного никакими «формами управления». Калибан, архетипический дикарь, подобно вирусу помещён в самое нутро машины Окультурного империализма; лесная чаща/звери/люди изначально уже обладают магическим могуществом, присущим всякому изгою, отверженному и презираемому. С одной стороны, Калибан уродлив, а Природа уподобляется «негодной пустоши» — с другой стороны, Калибан благороден и свободен духом, а Природа олицетворяет Эдем. Этот раскол в европейском сознании предвосхищает дихотомию между романтизмом и классицизмом, своими корнями он восходит к Высокой магии Ренессанса. Открытие Америки (Эльдорадо, Источник вечной молодости) кристаллизует его, и его духом пронизаны все реальные проекты колонизации.

В начальных классах школы нас учили, что первые поселения в Роаноке потерпели крах; колонисты пропали без вести, оставив после себя лишь загадочную надпись: «Ушли на Кроатоан». Свидетельства, полученные впоследствии от «сероглазых индейцев», были

сочтены за выдумки и проигнорированы. Ведь на самом-то деле, как говорится в учебниках, индейцы перебили безоружных поселенцев. Однако «Кроатоан» вовсе не был каким-нибудь Эльдorado — так называлось соседнее племя миролюбивых индейцев. Совершенно очевидно, что поселение было попросту перенесено вглубь материка, на болото Грейт-Дисмал, и его обитатели смешались с коренными жителями. А сероглазые индейцы существовали в действительности — фактически, они *всё ещё* существуют и по-прежнему именуют себя Кроатоан.

Итак, обитатели самой первой колонии в Новом свете решили аннулировать свой договор с Просперо (в лице Ди/Рэли/Империи) и присоединиться к Калибану и его Дикарям. Они растворились. Они стали «индейцами», «ассимилировались», предпочли хаос тем ужасающим горестям, что жизнь сулит холопам в услужении у лондонских плутократов и интеллектуалов.

Когда на месте того, что называлось «Островом Черепахи», возникла Америка, осколки Кроатоана сохранились в её коллективной душе. За горизонтом фронта по-прежнему царило Естественное состояние (при полном отсутствии Государства) — и в глубине сознания поселенцы всегда лелеяли возможность раствориться в дикой глуши, уступив соблазну сбежать от Церкви, работы на ферме, грамотности и налогов — сбросить с себя всё бремя цивилизации — и тем или иным способом «отправиться в Кроатоан». Более того, после того как Английская революция была предана — сперва Кромвелем, а затем Реставрацией, — целые волны протестантских радикалов, по своей ли воле или по принуждению, хлынули в Новый свет (который теперь превратился в *тюрьму*, в приют для *изгнанников*). Антиномисты, фамилисты, ушлые квакеры, левеллеры, диггеры и рантеры открыли для себя оккультную тень первозданной природы и с готовностью распахнули ей свои объятия.

Энн Хатчинсон и её соратники были единственными из антиномистов, получивших широкую известность (как принадлежавшие к самой зажиточной прослойке общества), — поскольку им не посчастливилось ввязаться в политические интриги колонии Массачусетского залива — однако можно со всей определённостью утверждать, что существовало и другое, куда более радикальное крыло этого движения. События, описанные Готорном в новелле «Майский шест на весёлой горе», основаны на достоверных исторических фактах; по всей видимости, эти сектанты решили оставить христианскую веру и обратиться в язычников. Если бы им удалось объединиться со своими индейскими союзниками, это могло бы привести к созданию синкретической религии, объединявшей в себе воззрения антиномистов, кельтов и алгонкинов, которая стала бы для жителей Северной Америки XVII века неким подобием южноамериканской *сантерии*.

Сектанты имели бы больше шансов устроиться под крылом менее жёсткой и более коррумпированной администрации на Карибах, где, по причине конфликтующих интересов европейских держав, многие острова по-прежнему оставались незаселёнными, а на некоторые из них никто даже не успел заявить свои права. В частности, многие из этих радикалов, скорее всего, обосновались на Барбадосе и Ямайке, и, по моему мнению, влияние левеллерских и рантерских воззрений прослеживается в устройстве буханьерской «утопии» на Тортуге. Из книги Эксквемелина мы можем узнать важные подробности об этой первой в

истории успешной прото-ВАЗ из тех, что возникли в Новом свете. Пытаясь сбежать от зловещих «благ» империализма, с его рабством, крепостничеством, расизмом и нетерпимостью, от принудительной вербовки на флот и смерти заживо под палящим солнцем плантаций, буканьеры переняли индейский образ жизни, вступали в браки с жителями Карибов, принимали чёрных и испанцев как равных, не признавали различий по национальному признаку, выбирали своих капитанов с помощью демократических процедур и вернулись к «естественному состоянию». Объявив «войну всему миру», они поднимали свои паруса, чтобы посвятить себя грабежу, заключая между собой взаимные договоры на основании «Кодексов», эгалитарных до такой степени, что каждому участнику полагалась равная доля добычи и только капитан, как правило, мог претендовать на дополнительную четверть или половину к своей доле. Порка плетью и телесные наказания были запрещены — все разногласия улаживались общим голосованием или с помощью дуэльного кодекса.

Было бы попросту неверно считать пиратов всего лишь морскими разбойниками и тем более какими-нибудь прото-капиталистами, как полагают некоторые историки. В каком-то смысле они были «социальными бандитами», хотя сообщества, возникавшие на пиратских базах, представляли собой не традиционные крестьянские общины, а «утопии», создаваемые практически с нуля посреди *terra incognita*, анклавов неограниченной свободы, занимавшие пространства, не обозначенные на картах. После падения Тортуги буканьерский идеал оставался жизнеспособным на протяжении всего «Золотого века» пиратства (1660–1720) и находил своё выражение, например, в поселениях Белиза, основанных буканьерами. Впоследствии, после того как их активность сместилась в окрестности Мадагаскара — свои права на этот остров к тому времени не успела заявить ни одна морская держава, и власть на нём находилась в руках пёстрой горстки местных царьков (вождей), с радостью заключавших союзы с пиратами, — Пиратские утопии достигли своего расцвета.

По мнению некоторых историков, рассказ Дефо о капитане Миссьоне и основании Либерталии являлся лишь художественным вымыслом, банальной уткой, написанной с целью пропаганды радикальной теории вигов, — однако она была включена во «Всеобщую историю грабежей» (1724–1728), достоверность которой по большей части не вызывает вопросов. Кроме того, история капитана Миссьона не была разгромлена критиками после выхода книги, а ведь многие из тех моряков, которым случалось бывать на Мадагаскаре в описываемые времена, тогда ещё были живы. Похоже, *они сами* считали эту историю подлинной, и, несомненно, причина этого была в том, что они сохранили память о жизни в пиратских анклавах, схожих с Либерталией. Вспомним, что освобождённые рабы, аборигены и даже традиционные соперники по оружию, как, например, португальцы, имели возможность стать равноправными членами коммуны. (Нападения на суды работоторговцев с целью освобождения их пленников были делом обыденным.) Землёй владели сообща, выборные представители назначались на короткие сроки, а добычей было принято делиться; исповедуемые здесь принципы свободы в своей радикальности гораздо превосходили даже идеи, изложенные в «Здравом смысле»[9].

Либерталия рассчитывала выстоять под натиском врагов, и Миссьон погиб во время её осады. Однако большинство пиратских утопий изначально задумывались как временные пристанища; по сути, подлинными «республиками» корсаров были их корабли, правосудие на которых вершилось в согласии с «Кодексом». В анклавах на суше чаще всего царило

полное беззаконие. Последний классический пример, багамский Нассау — пляжный курорт, усыпанный лачугами и шатрами, обитатели которых самоотверженно предавались пьянству, разврату (причём не только с женщинами, но, вероятно, и с мальчиками тоже, если судить по монографии Бёрга «Содомия и пиратская традиция»[10]), музицированию (пираты с невероятным трепетом относились к музыке и даже нанимали оркестры на всё время похода) и другими порочными излишествами — растворился в одночасье, когда в заливе показались паруса британского флота. Чёрная Борода и «Ситцевый» Джек Рэкхем с его командой женщин-пиратов направились к более тучным берегам, навстречу своей ужасной судьбе, тогда как остальные смиренно взмолились о помиловании и, получив его, вернулись к законопослушной жизни. Однако буканьерская традиция сохранилась — как на Мадагаскаре, где пиратские дети-полукровки начали обустраивать собственные королевства, так и на Карибах, где беглые рабы, наравне со смешанными группами из представителей чёрной, белой и индейской расы, смогли наладить безбедную жизнь в горах и поймах, где возникли поселения «маронов». Маронское сообщество на Ямайке по-прежнему сохраняло относительную независимость и традиционный уклад даже в 1920-е годы, когда с визитом сюда приехала Зора Ниэл Хёрстон (см. «Tell My Horse»[11]). Мароны Суринама практикуют африканское «язычество» до сих пор.

На протяжении XVIII века в Северной Америке также возник целый ряд изгойских «изолированных трёхрасовых сообществ». (Этот термин, отдающий больничной карболкой, изобрели участники Евгенического движения, которым принадлежат первые исторические исследования, посвящённые этим общинам. К несчастью, эта «наука» способствовала лишь оправданию той ненависти, которую участники движения испытывали к «нечистым» расам и нищим, а в качестве «решения этой проблемы» чаще всего прибегали к принудительной стерилизации.) Ядро сообщества неизменно образовывали беглые рабы и крестьяне, «преступники» (т.е. совершенная голытьба), «проститутки» (т.е. белые женщины, выходившие замуж за представителей других рас) и члены всевозможных аборигенных племён. Иногда, как в случае семинолов и чероки, вновь прибывшие встраивались в традиционную племенную структуру; в других случаях образовывались новые племена.

Так возникли мароны болота Грейт-Дисмал, сохранявшиеся на протяжении XVIII и XIX веков, куда стекались беглые рабы и которые играли роль перевалочного пункта вдоль своеобразной Подпольной железной дороги, а кроме того они являлись религиозными и идеологическими центрами сопротивления взбунтовавшимся рабам. Здесь исповедовалась религия Худу, сочетающая в себе африканские, аборигенные и христианские элементы, и, по словам историка Х. Лиминг-Бея[12], старейшин, выполнявших функцию религиозных лидеров и вождей маронов Грейт-Дисмал, называли «Семипалыми лучами великого сияния».

Народность, населяющая горный массив Рамапо на севере штата Нью-Джерси (и известная под уничижительным названием «Джексон-уайтс»), являет собой пример ещё одной романтической и архетипической генеалогии: рабы, сбежавшие от датских лендлордов («патронов»), представители разнообразных народностей, принадлежавших к делаварам и алгонкинам, привычные «проститутки», «гессенцы» (прозвище, закрепившееся за британскими наёмниками-одиночками, ренегатами из числа лоялистов и т.п.) и местные шайки, живущие общинами, вроде банды Клаудиуса Смита.

Некоторые из этих групп заявляют о своём афро-исламском происхождении, как, например, делаверские мавританцы и бен-исмаилиты, перебравшиеся в Кентукки из Огайо в середине XVIII века. Исмаилиты практиковали полигамию, не употребляли алкоголь, зарабатывали на жизнь музыкой, вступали в смешанные браки с индейцами и перенимали их уклад — они были до такой степени привержены кочевническому образу жизни, что прилаживали колёса к своим жилищам. Их ежегодный маршрут миграции охватывал разбросанные по фронтиру городки с названиями вроде Мекки или Медины. В конце XIX века некоторые из них прониклись идеалами анархизма и попали под прицел адептов евгеники, устроивших им демонстративно жестокий погром под лозунгом «искупление через истребление». Некоторые из первых принятых евгенических законов были адресованы именно им. Их племя «исчезло» в 1920-е годы, однако, по всей видимости, его члены пополнили ряды ранних «чёрно-исламских» сект вроде «Храма мавританской науки». Я и сам вырос на легендах о «семье Калликак»[13], проживавшей неподалёку в местечке Пайн-Барренс (и, конечно, на книгах Лавкрафта, отъявленного расиста, которого всегда завораживали изолированные сообщества). Позже выяснилось, что эти легенды были порождены коллективной памятью сторонников евгенических домыслов, американская штаб-квартира которых располагалась в городе Вайнленд (Нью-Джерси), — с их подачи в Барренс были проведены типичные «реформы» для борьбы с распространением «метисации» и «слабоумия» (попутно в прессе публиковались фотографии членов семьи Калликак, умышленно и грубо отретушированные, чтобы изобразить их в виде чудовищ, порождённых в результате кровосмешения).

«Изолированные сообщества» — по крайней мере те из них, которым удалось сохранить свою идентичность к началу XX века, — раз за разом отказывались вливаться как в магистральную культуру, так и в чёрную «субкультуру», к которой их предпочитают относить современные социологи. В 1970-е годы на волне общего возрождения коренных индейских народов Америки некоторые из этих групп, включая мавританцев и рамапо, подали заявки в Бюро по делам индейцев с требованием признать их в качестве автохтонных *индейских племён*. Хотя они получили поддержку со стороны коренных индейских активистов, в признании им было официально отказано. В конце концов, если бы они добились своего, это создало бы опасный прецедент для изгоев всех мастей, начиная с «любителей пейотля из числа белых» и всяких хиппи и заканчивая чёрными националистами, арийцами, анархистами и либертарианцами — даёшь отдельную «резервацию» для всех и каждого! «Европейский проект» не может признать существование Дикаря — зелёный хаос по-прежнему воспринимается как угроза в контексте имперской мечты о порядке.

В сущности, мавританцы и рамапо отвергли «диахроническое» или историческое объяснение их генеалогии в пользу «синхронической» самоидентичности, основанной на «мифе» усыновления их индейцами. Или, другими словами, *они сами называли себя «индейцами»*. Только представьте, какой масштаб принял бы массовый исход в Кроатоан, если бы каждый, кто пожелает «стать индейцем», мог сделать это, лишь провозгласив себя таковым. Эта старинная оккультная тень по-прежнему нависает над остатками наших лесов (площадь которых, к слову, с XVIII–XIX веков значительно выросла в северо-восточной части страны после того, как обширные пастбища стали зарастать кустарником. Будучи на смертном одре, Генри Торо мечтал о возврате «... индейцев... лесов...» — о возвращении

подавленного).

Разумеется, мавританцы и рамапо имели весомые причины считать себя индейцами — в конечном счёте, те были в числе их предков, — однако с точки зрения нашего исследования ВАЗ было бы полезнее рассматривать их самопровозглашение в «мифическом», а также в историческом ключе. Внутри племенных социумов выделяются *mannenbunden*, как называют их антропологи: тотемные сообщества, посвятившие себя слиянию с «Природой» в акте превращения, через *становление* тотемным животным (вспомним истории про оборотней, шаманов-ягуаров, людей-леопардов, кошачьих ведьм и т. п.). В контексте всего колониального общества в целом (как утверждает Майкл Тауссиг в своей книге «Шаманизм, колониализм и дикарь»[14]) считается, что могущество, проистекающее из способности к превращению, наследуется всей аборигенной культурой как таковой — поэтому к наиболее подавленному сегменту общества переходит парадоксальная власть, полученная им через миф об оккультном знании, которое пугает и влечёт к себе колониста. Конечно, аборигены и в самом деле владеют кое-какими оккультными познаниями, однако, в ответ на имперское восприятие аборигенной культуры как своего рода «духовного дикарства или дикости», аборигены начинают всё более осознанно примерять на себя эту роль. Даже по мере их вытеснения в приграничные области этот пресловутый Рубеж приобретает магическую ауру. До прихода белого человека они были обычными племенами — теперь же они являются «хранителями Природы», пребывающими в том самом «естественном состоянии». Наконец, и сам колонист поддаётся соблазну этого «мифа». Когда бы американцы ни надумали вернуться к земле и слиться с Природой, они неизменно «превращаются в индейцев». Радикальные демократы из Массачусетса (духовные наследники радикально настроенных протестантов), устроившие Бостонское чаепитие, искренне веря, что правительства можно упразднить (округ Беркшир провозгласил возврат к «естественному состоянию» на всей своей территории!), переоделись в «воинов-могавков». Таким образом, колонисты, внезапно обнаружившие, что они сделались маргиналами в глазах своей родины, переняли роль столь же маргинализированных аборигенов, пытаясь тем самым (в каком-то смысле) позаимствовать и их оккультную силу, их мифический ореол. Начиная с маунтинменов и заканчивая бойскаутами, мечта о «превращении в индейцев» пронизывает бесчисленные изгибы американских истории, культуры и сознания.

Эротическая образность, связанная с восприятием «трёхрасовых» групп, также поддерживает эту гипотезу. Разумеется, «аборигены» всегда отличаются аморальностью, однако расовых отступников и изгоев следует считать прямо-таки полиморфными извращенцами. Буканьеры были содомитами, мавританцы и маунтинмены практиковали расовое кровосмешение, «джуксы и калликаки» предпочитали прелюбодеяния и инцест (чем объяснялись мутации вроде полидактилии), а их дети бегали по окрестностям голышом, мастурбируя у всех на глазах, и т. д. и т. п. Похоже, что возврат к «естественному состоянию» парадоксальным образом давал индульгенцию на едва ли не каждый «*противоестественный*» акт; или так могло казаться сторонним наблюдателям, если верить словам пуритан и адептов евгеники. А поскольку многие члены подавленных, моралистических и расистских сообществ втайне мечтают совершить именно эти распутные деяния, они проецируют их вовне, на маргинализированные ими группы, тем самым убеждая себя в том, что сами они остаются людьми цивилизованными и сохраняют свою чистоту. И, фактически, некоторые из подобных маргинализированных групп и в самом деле

отвергают общепринятую мораль — по крайней мере, это точно можно сказать о пиратах! — и можно не сомневаться, что они и впрямь позволяли себе реализовывать кое-какие из подавленных желаний цивилизации. (А вы бы отказались?) Превращение в «дикаря» всегда становится эротическим актом, актом наготы.

Прежде чем поставить точку на этом изучении «трёхрасовых отщепенцев», я бы хотел напомнить об энтузиазме, который испытывал Ницше по поводу «смешения рас». Находясь под впечатлением от напористости и красоты гибридных культур, он предложил не только прибегнуть к расовому смешению для решения проблемы вырождения расы, но и сделать его основополагающим принципом для создания нового человечества, свободного от предрассудков этического и национального шовинизма, — возможно, в качестве промежуточного этапа перед воспитанием «духовного кочевника». Судя по всему, в наше время эта ницшевская мечта остаётся так же далёкой от воплощения, как и при его жизни. С шовинизмом у нас по-прежнему всё в порядке. Смешанные культуры задвинуты на второй план. Однако автономные зоны буканьеров и маронов, исмаилитов и мавританцев, рамапо и «калликаков» так никуда и не делись — или, по крайней мере, до нас дошли их истории, служащие нам иллюстрацией того, что Ницше мог бы назвать «волей к власти как исчезновению». Мы ещё вернёмся к этой теме.

Музыка как организующий принцип

Тем временем, однако, мы обратимся к истории классического анархизма в преломлении концепции ВАЗ. До того как произошло «завершение карты», немалое количество антиавторитарной энергии было израсходовано на построение «эскапистских» коммун, как, например, «Новые времена», всевозможные фаланстеры и т.п. Что интересно, некоторые из них не задумывались о том, чтобы «сохраниться в веках», а поддерживались только до тех пор, пока проект не переставал вдохновлять его участников. По социалистическим/утопическим стандартам, эти эксперименты считаются «неудачными», и поэтому информации о них сохранилось немного.

Когда бежать за фронтир стало невозможно, в Европе наступила эра революционных городских коммун. Коммуны Парижа, Лиона и Марселя просуществовали слишком недолго, чтобы у них могли появиться какие-нибудь устойчивые характеристики, и поневоле задаёшься вопросом, было ли так и задумано. С нашей точки зрения, более всего завораживает сам дух этих коммун. В те годы, как и впоследствии, анархисты начали применять тактику революционного номадизма, кочуя от одного бунта к другому и пытаясь поддерживать в себе ту степень духовной интенсивности, что пробуждается в людях в моменты восстания. Фактически, некоторые анархисты штирнерианского/ницшеевского толка стали рассматривать эту тактику как самоцель, как способ *постоянной оккупации автономной зоны*, интерзоны, что открывается в самый разгар войны и революции (ср. с «зоной» Пинчона в его «Радуге земного тяготения»). Они объявили, что в случае успеха какой-нибудь социалистической революции они будут первыми, кто восстанет против неё. Они не намеревались складывать оружие вплоть до момента вселенского триумфа анархии. В России 1917 года они радостно приветствовали декрет о создании свободных советов: в этом они видели свою цель. Но стоило большевикам предать революцию, анархо-индивидуалисты первыми ступили на тропу войны. И, конечно, после Кронштадта анархисты *единогласно* принялись обличать «Советский Союз» (взаимоисключающие понятия) и приступили к поискам путей для новых восстаний.

Изначально махновская Украина и анархистская Испания задумывались как проекты *долгосрочные*, и, несмотря на все трудности, сопряжённые с непрекращающейся войной, можно сказать, что оба эти проекта были достаточно успешными: не то чтобы им удалось продержаться «достаточно долго», однако они смогли достигнуть необходимого уровня организации и имели бы неплохие перспективы, если бы дело не дошло до внешней агрессии. Таким образом, среди всех экспериментов, предпринятых в период между двумя мировыми войнами, в этой статье я рассмотрю лишь полубезумную республику Фиуме, поскольку её история не так хорошо известна публике и, вдобавок, этот проект с самого начала *не задумывался* как долговременный. Габриеле д'Аннунцио — поэт, декадент,

художник, музыкант, эстет, сердцеед, пионер-воздухоплаватель и сорвиголова, чернокнижник, гений и грубиян — вышел на сцену во время Первой мировой войны, на которой он прославился как герой и командующий небольшой личной армией, «ардити». В отчаянном поиске приключений он решил захватить город Фиуме, находившийся на территории Югославии, чтобы подарить его Италии. Проведя в Венеции некромантическую церемонию с участием своей дамы сердца, он отправился на завоевание Фиуме и одержал достаточно лёгкую победу. Однако Италия отвергла столь щедрый дар, а премьер-министр обозвал его глупцом.

Выйдя из себя, д'Аннунцио решил провозгласить независимость и посмотреть, как долго это будет сходить ему с рук. Вместе с одним из своих приятелей-анархистов он сочинил конституцию, в которой *основополагающим принципом государства объявлялась музыка*. Моряки, служившие в военно-морском флоте (собранные из дезертиров и матросов из числа миланских анархо-синдикалистов) называли себя «ускоками» — так в старину называли себя пираты, населявшие местные острова и промышлявшие грабежом венецианских и османских судов. Современные ускоки тоже могли похвастаться кое-какими успехами: ограбив несколько итальянских торговых судов и получив богатый куш, они подарили республике будущее — теперь в её казне завелись деньжата! Художники, представители богемы, искатели приключений, анархисты (д'Аннунцио переписывался с Малатестой), беженцы и безродные космополиты, гомосексуалисты, щёголи в военной униформе (она была чёрного цвета и украшена изображением пиратского черепа с костями — позже эту символику присвоили СС) и полоумные реформаторы всех мастей (включая буддистов, теософов и индуистов) начали массово съезжаться в Фиуме. Вечеринка не прекращалась ни на минуту. Каждое утро д'Аннунцио выходил на балкон, чтобы декламировать оттуда стихи и зачитывать манифесты; каждый вечер — концерт и фейерверк по его окончании. Правительство целиком сосредоточилось на подобных занятиях. Спустя восемнадцать месяцев, когда в погребах иссякло вино, а в казне — валюта, и *наконец-то* в гавань вошёл итальянский флот, сделав несколько залпов в сторону Городского совета, энергии на сопротивление ни у кого уже не оставалось.

Впоследствии д'Аннунцио, как и многие итальянские анархисты, начал открыто симпатизировать фашистам — фактически на этот путь его заманил Муссолини (который сам когда-то был синдикалистом). А когда д'Аннунцио осознал свою ошибку, было уже слишком поздно: он был слишком стар и болен. Впрочем, Дуче всё равно решил его прикончить — скинув с балкона, — чтобы сделать из него «мученика». Что же касается республики Фиуме, несмотря на то, что в сравнении с Украиной или Барселоной ей явно недоставало *серьёзности*, возможно, она может гораздо большему научить нас в плане некоторых практических аспектов нашего проекта. В каком-то смысле, она являлась последней пиратской утопией (или, по крайней мере, являла собой её единственный современный пример) — быть может, в других отношениях она представляла собой нечто очень близкое к концепции современной ВАЗ.

На мой взгляд, если сравнить Фиуме с Парижским восстанием 1968 года (а также с итальянскими городскими столкновениями начала семидесятых) или с американскими контркультурными коммунами и их прототипами, создававшимися анархистами и новыми левыми, мы обнаружим между всеми ними некоторое сходство, которое заключалось, в

частности, в той важной роли, которая отводилась эстетической теории (ср. с ситуационистами), а также в том, что можно назвать «пиратским экономическим укладом», то есть обеспечением за счёт излишков общественного производства, и даже в популярности эффективной военной униформы, равно как и в признании революционного потенциала музыки, и, наконец, в общей для них атмосфере непостоянства, готовности в любой момент сняться с места, видоизмениться, перебазироваться в другие университеты, горные долины, гетто, на другие фабрики, конспиративные квартиры, заброшенные фермы — и даже в иные планы бытия. Ни в Фиуме, ни в Париже, ни в Милбруке никто не пытался провозгласить очередную Революционную диктатуру. Либо миру предстояло измениться, либо нет. А тем временем необходимо продолжать свой путь и *жить на полную катушку*.

В Мюнхенских советах (или «Баварской советской республике») 1919 года прослеживались некоторые черты ВАЗ, несмотря даже на то, что — как и в ходе любой революции — заявленные при этом цели отнюдь не задумывались как «временные». Благодаря участию Густава Ландауэра в качестве Министра культуры, Сильвио Гезелля в роли Министра экономики и других либертарных социалистов антиавторитарного и экстремистского толка, вроде поэтов и драматургов Эриха Мюзама и Эрнста Толлера или Рета Мерута (писавшего под псевдонимом Бруно Таверн), эта республика обладала отчётливым анархистским характером. Ландауэр, который прожил много лет в одиночестве, пытаясь объединить идеи Ницше, Прудона, Кропоткина, Штирнера, Мейстера Экхарта, радикальных мистиков и романтических фёлькиш-философов, с самого начала понимал, что Советская республика обречена; он надеялся только на то, что она просуществует достаточно долго, чтобы её механику можно было *понять*. Курт Эйсер, мученик и один из основателей Советской республики, достаточно недвусмысленно заявлял, что ядро революции должны составлять поэты и поэзия вообще. Предпринимались попытки реализации плана, согласно которому обширный участок Баварии отводился для экспериментов, целью которых было устройство анархо-социалистической экономики и социальной организации. Ландауэр предлагал проекты Свободных школ и Народного театра. Республику главным образом поддерживали беднейшие представители рабочего класса и богемные пригороды Мюнхена, а также группы вроде Вандерфогель (неоромантическое молодёжное движение), еврейские радикалы (как, например, Бубер), экспрессионисты и прочие маргиналы. По этой причине историки пренебрежительно называют её «Республикой кофеен» и склонны принижать её значимость в свете более широкой вовлечённости марксистов и спартакистов в революционные волнения, охватившие Германию после Первой мировой войны. В конечном счёте коммунисты переиграли Ландауэра, а солдаты, находившиеся под влиянием идей, распространяемых оккультно-фашистским обществом Туле, жестоко с ним расправились — и уже только поэтому он достоин того, чтобы почитать его как святого. Однако даже современные анархисты зачастую не способны понять глубину его мысли и склонны упрекать его за то, что он якобы «продался» «правительству социалистов». Если бы Советская республика продержалась ещё хотя бы один год, мы бы не могли сдержать слёз, вспоминая её красоту, — но прежде чем увяли самые первые цветы той Весны, сам *geist*, дух её поэтики был втопан в грязь — и выветрился из нашей памяти. Только вообразите, как дышалось бы в городе, где Министерство культуры только что объявило программу, согласно которой всем школьникам вскоре предстояло заучивать стихи Уолта Уитмена. Эх, будь у нас машина времени...

Воля к власти как исчезновение

Фуко, Бодрийяр и др. достаточно подробно рассмотрели различные аспекты «исчезновения». В данной статье я хотел бы показать, что ВАЗ в некотором смысле представляет собой *тактику исчезновения*. Когда теоретики говорят об исчезновении социального, они указывают, с одной стороны, на невозможность «социальной революции» и, с другой стороны, на невозможность «государства» — то есть на зияющую пустоту власти, исчерпанность властного дискурса. В таком случае, анархисту следовало бы задаться вопросом: *с какой стати* нужно вступать в конфронтацию с «властью», утратившей всякий смысл и превратившейся в чистую симуляцию? Такая конфронтация способна породить лишь опасные и нелицеприятные спазмы насилия со стороны тупоголовых кретинов с дерьмом вместо мозгов, которым достались в наследство ключи от всех арсеналов и тюрем. (Быть может, в этой позиции находит своё отражение тенденция к грубому непониманию со стороны американцев столь тонкой и нетривиальной франко-германской теории. Раз так, беспокоиться не о чем — разве кто-то считает, что для практического воплощения некой идеи необходимо её *понимание*?)

Насколько я могу судить, в текущих реалиях исчезновение представляется вполне логичным и радикальным решением и вовсе не несёт в себе угрозу катастрофы или смерти радикального проекта. В отличие от болезненных и разлагающихся на глазах нигилистических интерпретаций теории, моя трактовка основана на предложении *отказаться* от них в пользу практических стратегий, реализуемых в контексте никогда не прекращающейся «революции повседневной жизни» — борьбы, которая не может угаснуть даже в случае окончательного краха политической или социальной революции, поскольку ничто не может положить конец повседневной жизни, за исключением, разве что, конца света, как и нашему стремлению ко *всему хорошему*, к чудесному. Как заметил Ницше, если бы конец света был возможен, то, по логике вещей, ему бы уже следовало наступить; и, раз уж он всё ещё не случился, значит, он и *не наступит*. А в этом случае, как сказал один суфий, не имеет значения, как много мы выпьем запретного вина, ведь наша жажда останется неутолимой навеки.

Зерзан и Блэк независимо друг от друга пришли к выводу, что существуют некоторые «элементы отказа» (термин Зерзана), которые, вероятно, можно рассматривать как своего рода дополняющие аспекты радикальной культуры исчезновения, как сознательные, так и бессознательные, и что под их влиянием находится куда больше людей, чем под влиянием какой бы то ни было левацкой или анархистской *идеи*. Эти жесты направлены *против* институций и в этом смысле являются «негативными» — однако каждый негативный жест подразумевает также и «позитивную» тактику, призванную найти замену презираемой институции, нежели просто выражать свой протест в её отношении. Например, негативным

жестом в отношении *школьного образования* будет «добровольная неграмотность». Поскольку мне не свойственно присущее либералам поклонение перед грамотностью как способом окультуривания масс, я не вполне разделяю всеобщее негодование по поводу высказанной мною идеи: я искренне сочувствую детям, отказывающимся читать книги и забивать себе голову мусором, который в них содержится. Однако существуют и позитивные альтернативы, в основу которых положена всё та же энергия исчезновения. Домашнее образование и изучение ремёсел, наравне со школьными прогулами, позволяют избежать заключения в четырёх стенах тюрьмы или школы. Хакерская деятельность является ещё одной формой «образования», которой не чужды некоторые аспекты «невидимости».

Массовый негативный жест в отношении политики попросту заключается в неучастии в голосованиях. «Апатия» (т.е. здоровое ощущение скуки при созерцании неинтересного спектакля) удерживает большую часть населения от походов на избирательные участки — анархизму такой энтузиазм и не снился! (Как и не принадлежит анархизму заслуга в том, что недавняя попытка переписи населения потерпела крах). И снова мы находим позитивные параллели: «неформальное общение» может выступать в качестве альтернативы политике и осуществляется на самых разных уровнях социума, а неиерархические формы организации приобрели популярность даже за пределами анархистского движения и лишь по той причине, что они работают. (В качестве лишь пары примеров можно вспомнить такие инициативы, как «ACT UP» и «Earth First!». И, как ни парадоксально, ещё один пример — это «Анонимные алкоголики».)

Отказ *работать* может принимать такие формы, как абсентеизм, работа под градусом, саботаж или нежелание проявлять никакого энтузиазма, но он также может породить новые формы сопротивления: более широкое распространение самозанятости, участие в «серой» и «чёрной» экономике, махинации с пособиями и другие незаконные схемы, выращивание конопли и т.п. — все эти формы являются относительно «невидимыми» в сравнении с традиционными левацкими конфронтационными тактиками вроде всеобщей забастовки. Отказ от участия в *церковной жизни*? Что ж, по всей видимости, в этом случае «негативным жестом» было бы... смотреть телевизор. А позитивные альтернативы включают всё разнообразие неавторитарных форм духовного развития, начиная с «невоцерковлённого» христианства и заканчивая неоязычеством. «Свободные религии», как я их называю, — немногочисленные самопровозглашённые полусерьёзные-полушутливые культы, вдохновляемые такими течениями, как дискордианство или анархо-даосизм — можно обнаружить среди всех обитателей маргинальной Америки, и они олицетворяют всё более масштабный «четвёртый путь» как альтернативу магистральным церквям, подонкам-телепроповедникам, бессодержательности течений нью-эйдж и консюмеризму. Кроме того, уместно будет отметить, что главный способ выражения своей неприязни к ортодоксии подразумевает создание «личных этических систем» в ницшеанском ключе — так выражают свою духовность те, кто «свободен духом».

Чисто негативный отказ от *домашнего быта* — это «бездомность», которая в сознании большинства ассоциируется с формой жертвенности, нежеланием быть принуждаемым к номадологии. Однако в каком-то смысле «бездомность» является добродетелью и приключением — по крайней мере, это убеждение разделяют многочисленные участники международного движения сквоттеров, добровольных бомжей нашей эпохи.

Чисто негативный отказ от *семьи* — это, бесспорно, развод или какой-либо иной симптом «разлада». Позитивная альтернатива возникает из осознания того, что без нуклеарной семьи жизнь может быть более счастливой, а на её месте могут распуститься бесчисленные цветы — начиная с воспитания ребёнка одним родителем, включая групповые браки, и заканчивая группами, создаваемыми на основе близости эротических предпочтений. В тылу «европейского проекта» развернулась масштабная битва, призванная спасти институт «семьи» — эту эдипову каторгу, что лежит в самом сердце контроля. Альтернативы доступны — однако им следует оставаться в тени, особенно после того, как в 1980-е и 90-е годы отгремела война против секса. Какие формы может принять отказ от *искусства*?

«Негативным жестом» здесь не может считаться нелепый нигилизм «Всеобщей забастовки художников» или обезображивание знаменитых картин — такой жест мы находим в практически тотальной скуке, считываемой в остекленевшем взгляде большинства людей при одном только упоминании «искусства». Но что будет олицетворять «позитивный жест»? Можно ли помыслить такую эстетику, которая не *вовлекает*, самоустраняясь из истории и даже с рынка, или, по крайней мере, *стремится* к этому, пытаясь заменить репрезентацию *присутствием*? Каким образом присутствие обнаруживает себя хотя бы даже внутри репрезентации (или сквозь неё)?

«Хаотическая лингвистика» пытается обнаружить присутствие, непрерывно ускользающее от всех упорядочивающих структур языка и систем значений; присутствие зыбкое, мимолётное, *latif* (так алхимики обозначают свойство «неуловимости») — странный аттрактор, притягивающий к себе миметические монады, хаотически создающий новые и спонтанные степени упорядоченности. Здесь мы имеем дело с лингвистикой пограничной зоны, лежащей между хаосом и порядком, с рубежом, областью «катастрофы», где крах системы может быть неотличим от озарения. (Примечание: обсуждение «хаотической лингвистики» см. в «Приложении А», после чего настоятельно рекомендуется прочесть данный абзац ещё раз.)

В терминах ситуационистов, исчезновение художника и означает «подавление и осуществление искусства». Однако откуда мы исчезаем? И появимся ли мы когда-нибудь вновь? Мы отправляемся на Кроатоан — какая судьба нас там ожидает? Всё наше искусство представляет собой лишь адресованную истории прощальную записку — «Ушли на Кроатоан» — но где он находится и что мы будем там *делать*?

Во-первых, мы вовсе не говорим о том, чтобы буквально распрощаться с этим миром и его будущим — никакого прыжка назад во времени в «первобытное общество досуга» эпохи палеолита, никаких вечных утопий, никаких бункеров в толще скалистых гор, никаких островов, как и никаких революционных утопий (а скорее всего и вовсе никаких революций!) и уж точно никаких *волн*[15] и анархистских космических станций, — и в той же степени мы не приемлем бодрийеровского «исчезновения» в тишине иронического гиперконформизма. У меня нет никаких претензий к тем, кто пошёл по стопам Рембо и оставил искусство ради той Абиссинии, которую ему удалось отыскать. Но мы не сможем построить эстетику, даже если речь идёт лишь об эстетике исчезновения, на простом решении *никогда не оглядываться*. Заявив, что мы не принадлежим к авангарду и что никакого авангарда не существует, мы уже дали знать, что «ушли на Кроатоан» — но тогда

возникает вопрос, как мы обустроим повседневную жизнь на нашем Кроатоане? Особенно, если мы не можем локализовать Кроатоан ни во времени (будь то каменный век или эпоха, следующая за революцией), ни в пространстве и не можем представить его ни в качестве утопии, ни в качестве какого-нибудь богом забытого городишки на Среднем Западе или в Абиссинии. Где и когда существует мир непосредственной креативности? Если он *может существовать*, он *существует* — но, возможно, лишь как своего рода альтернативная реальность, контуры которой мы пока ещё не научились различать. Где мы сможем найти семена — зёрна, хрустящие под подошвами вдоль тротуаров, — пускающие ростки иного мира в мир, населёемый нами? Где нам искать подсказки? Как угадать верное направление поисков? Неужели всё это подобно пальцу, указывающему на луну?

Я считаю — или, по крайней мере, осмелюсь предположить, — что единственным решением для проблемы «подавления и осуществления» искусства представляется создание ВАЗ. Мне совершенно не импонирует критика этой идеи на том основании, что ВАЗ сама по себе является «ничем иным», кроме как ещё одним произведением искусства, хотя здесь и имеются свои подводные камни. Моё утверждение сводится к тому, что ВАЗ представляет собой единственно возможное «время» и «пространство», в которых искусство могло бы осуществляться ради одного лишь наслаждения творческой игрой и является реальным шагом к тому, чтобы ВАЗ могла окрепнуть и заявить о себе.

Внутри мира искусства искусство превратилось в товар; однако более глубокой является проблема самой *репрезентации* и отказа от *опосредованности*. В контексте ВАЗ искусство как товар будет попросту невозможным; вместо этого оно станет необходимым условием жизни. Опосредованность преодолеть сложнее, однако устранение всех барьеров между художниками и «пользователями» искусства будет способствовать созданию таких условий, при которых (цитируя А. К.Кумарасвами) «художник перестаёт быть особенным человеком, и каждый человек становится особенным художником».

Подводя итог: исчезновение не обязательно приравнивается к «катастрофе» — разве что в математическом смысле, как «внезапное изменение топологии». Похоже, что все обрисованные выше примеры *позитивных жестов* предполагают ту или иную степень невидимости, нежели традиционную революционную конфронтацию. В действительности «Новые левые» даже не знали о том, что они существуют, пока не услышали об этом в вечернем выпуске новостей. В противоположность им, Новая автономия либо просочится в средства массовой информации и саботирует «их» изнутри, либо вообще не даст о себе «знать». ВАЗ существует не только вне досягаемости контроля, но и за рамками всяких определений, вне доступности взглядов или ярлыков, которые суть акты порабощения, за пределами государственного понимания и государева *ока*.

Крысиные норы в информационном Вавилоне

Реализация ВАЗ как осознанной радикальной тактики возможна при следующих условиях:

1) Психологическое освобождение. Имеется в виду, что мы должны реализовывать (воплощать в реальности) моменты времени и области пространства, в которых свобода не только возможна, но и дана *фактически*. Мы должны понимать, каким образом осуществляется наше угнетение на практике, включая и те способы, посредством которых мы угнетаем самих себя или оказываемся в плену фантазий, внутри которых нас подавляют наши *идеи*. Например, для большинства из нас РАБОТА является куда более насущным источником страданий, чем политика в сфере законодательства. Отчуждение куда более опасно для нас, чем беззубые и отмирающие устаревшие идеологии. Мышление, заикленное на «идеалах» — которые, по сути, на практике оказываются лишь проекциями нашего ресентимента и отражениями нашей виктимизации — никак не содействует реализации нашего проекта. ВАЗ не является предвестием какого-нибудь воздушного замка в лице Социальной утопии, ради которой мы должны поставить на кон свою жизнь, чтобы когда-нибудь нашим внукам посчастливилось вдохнуть чуть-чуть свободнее. ВАЗ должна быть сценой для нашей насущной автономии, однако её существование возможно лишь при условии, что мы уже воспринимаем себя как свободных существ.

2) *Виртуальную сеть сопротивления*[16] необходимо расширять. На сегодняшний день она отражает скорее абстракцию, чем реальное положение дел. Самиздат и обмен информацией в интернете необходимы для закладки фундамента ВАЗ, однако лишь малая часть этой информации соотносится с конкретными материальными и трудовыми ресурсами, без которых автономная жизнь невозможна. Мы не живём в киберпространстве; считать иначе означало бы впасть в кибергностическую ересь, уверовать в ложную трансцендентность плотского тела. ВАЗ — физическое пространство, и либо мы занимаем его, либо нет. Необходимо участие всех органов чувств. В каком-то смысле всемирная паутина подобна новому органу чувств, однако его следует *присовокупить* ко всем остальным — а ими не следует жертвовать в пользу сети, как в какой-нибудь жуткой пародии на мистический транс. Без паутины полноценная реализация всех аспектов ВАЗ была бы невозможна. Однако паутина — это не самоцель, это оружие.

3) Аппарат контроля — «Государство» — будет (по всей вероятности) продолжать растворяться и одновременно каменеть, и по мере того, как оно будет следовать предзаданной траектории, своей истерической неподатливостью оно будет всё более

упорно пытаться компенсировать свою бессодержательность, зияющую пустоту власти. По мере «исчезновения» власти, наша воля к власти отождествляется с исчезновением.

Мы уже рассматривали проблему того, следует ли считать ВАЗ «всего лишь» произведением искусства. Однако вы также потребуете ответа на вопрос о том, является ли она лишь ещё одной жалкой крысиной норой в информационном Вавилоне или же представляет собой лабиринт извивающихся туннелей, в большей или меньшей степени соединённых между собой, хотя и посвящённых достижению одной-единственной тупиковой экономической цели пиратского паразитизма. Мой ответ заключается в том, что, будь я крысой, я предпочёл бы жить в полостях между стен, нежели в клетке — но при этом я спешу подчеркнуть, что ВАЗ выходит за рамки этих категорий.

Мир, в котором ВАЗ успешно *пустила бы корни*, мог бы напоминать тот мир, который автор, скрывающийся за псевдонимом Пи Эм, описал в фантастической новелле «боло-боло»[17]. Быть может, ВАЗ — это и есть «прото-боло». Однако поскольку ВАЗ может существовать лишь *в настоящем*, она подразумевает нечто куда большее, чем обыденность негативности контркультурного отщепенства. Мы уже обсуждали *фестивальный* аспект мгновения, ускользнувшего от Контроля и подчинённого принципу спонтанной самоорганизации, пусть даже на самое короткое время. Это — момент «откровения», пиковое переживание как в масштабе всего социума, так и в масштабе отдельной личности.

Итогом борьбы становится освобождение — в этом вся суть ницшевского «преодоления себя». Данный тезис можно было бы также проиллюстрировать с помощью ницшевской концепции странствия. Оно является провозвестником *дрейфа* — того, что ситуационисты и Лиотар определяли как *dérive/driftwork*. Мы видим контуры совершенно новой географии, своеобразного маршрута паломничества, где святые места соответствуют пиковым переживаниям и ВАЗ: перед нами подлинная наука психотопографии, которую, быть может, следовало бы назвать «геоавтономией» или «анархомантией».

ВАЗ предполагает некую *животность*, эволюцию от одомашнивания к дикости/дикарству, «возврат», который одновременно является и шагом вперёд. Для неё также необходима «йога» хаоса, проекция «высших» степеней упорядоченности (сознания или попросту жизни), приблизиться к которым можно, «оседлав ударную волну хаоса» во всём её нетривиальном динамизме. ВАЗ — это искусство жизни в непрекращающемся движении вверх, жизни необузданной, но умиротворённой — быть соблазнителем, но не насильником, скорее контрабандистом, чем кровожадным пиратом, танцором, а не глашатаем эсхатологии.

Вспомним, что нам доводилось посещать вечеринки, где в течение одного короткого вечера торжествовала республика удовлетворённых желаний. Разве не следует нам признать, что политика тех вечеров несла в себе больше реальности и силы, чем, скажем, всё Правительство США вместе взятое? Некоторые из вышеупомянутых «вечеринок» длились по два или три года. Разве это не стоит того, чтобы завладеть нашим воображением, чтобы за это сражаться? Давайте же будем овладевать искусством невидимости, сетевой активности, психического номадизма — и кто может предугадать, к чему приведут наши усилия?

— *День весеннего равноденствия, 1990 г.*

Приложение А.

Хаотическая лингвистика

Не на правах полноценной науки, но в качестве предложения: что, если некоторые проблемы лингвистики можно решить, рассматривая язык как сложную динамическую систему или «хаотическое поле»? В свете этого среди всех откликов на лингвистику Соссюра наибольший интерес представляют два следующих довода: во-первых, генеалогию «антилингвистики» можно проследить — в период модерна — начиная с отъезда Рембо в Абиссинию и заканчивая ницшевским «Я боюсь, мы не избавимся от Бога, потому что мы ещё верим в грамматику», дадаистами, Коржибски («Карта не есть Территория»), методом нарезок и «прорывом в Серой комнате» Берроуза, а также нападками Зерзана на язык вообще как олицетворение репрезентации и опосредованности.

Во-вторых, нас интересует лингвистика Хомского, с его верой в «универсальную грамматику» и древовидными диаграммами, — она представляет собой (на мой взгляд) попытку «спасения» языка посредством открытия «неявных констант», во многом схожую с попытками некоторых учёных «спасти» физику от «иррациональности» квантовой механики. И хотя следовало бы ожидать, что, будучи анархистом, Хомски примкнёт к нигилистам, по сути, его красивая теория имеет больше общего с платонизмом или суфизмом, чем с анархизмом. Традиционная метафизика трактует язык как чистый свет, преломляемый в цветном стекле архетипов; Хомски, в свою очередь, рассуждает о «врождённой» грамматике. Слова — это листья, ветви — это предложения, праязыки — сочленения, языковые семьи — стволы, корни же обретаются на «небесах»... или в ДНК. Я называю это «герметалингвистикой» — имея в виду сочетание герметического и метафизического. Мне кажется, что нигилизм (или, следуя по стопам Берроуза, «хэвиметал-лингвистика») завёл языковую теорию в тупик и угрожает сделать её «невозможной» (предприятие грандиозное, хотя и весьма удручающее) — в то время как Хомски даёт обещание и сохраняет надежду на то, что в самый последний момент придёт спасение, и в это мне верится с не меньшим трудом. Я бы и сам хотел «спасти» язык, хотя и не прибегая при этом к помощи «Призраков» и не уповая на Бога, игральные кости или Вселенскую мудрость.

Возвращаясь к Соссюру и его посмертно опубликованной работе, посвящённой анаграммам в латинской поэзии, мы обнаруживаем указания на некий процесс, который каким-то образом неподвластен динамике означаемого/означающего. Соссюр пытался нащупать своеобразную «мета»-лингвистику, проистекающую *изнутри* языка, нежели предписанную ему *извне* в качестве категорического императива. Похоже, что как только язык начинает играть, как в случае с акростихами, ставшими предметом его исследования, он начинает резонировать сам с собой, увеличивая сложность на порядки. Соссюр попытался выразить анаграммы количественно, однако полученные ряды чисел неизменно от него ускользали (как будто там были замешаны нелинейные уравнения). Более того, он начал обнаруживать

анаграммы *повсюду*, даже в латинской прозе. Он стал задаваться вопросом, не мерещатся ли они ему — или не являются ли они порождением естественного процесса *говoreния*. В итоге проект он забросил.

Я спрашиваю себя: если достаточное количество такого рода данных пропустить через компьютер, сможем ли мы приблизиться к тому, чтобы сконструировать модель языка в терминах сложных динамических систем? Тогда выяснится, что грамматика не является «врождённой», а проистекает из хаоса как спонтанно возникающие «высшие степени порядка», рассуждая в терминах пригожинской «творческой эволюции». Грамматику можно было бы уподобить «странному аттрактору», как та скрытая закономерность, что «повлекла» за собой анаграммы, — эти закономерности хотя и «реальны», но «существуют» лишь внутри порождённых ими закономерностей второго порядка. Если *значение* ускользает от нас, возможно, причина этого в том, что сознание как таковое — а значит, и язык — *фрактальны*.

На мой вкус, испорченный анархизмом, эта теория кажется более удовлетворительной, чем антилингвистика или хомскианство. Из неё следует, что язык в состоянии преодолеть репрезентацию и опосредованность, и не в силу своей врождённости, а потому, *что он есть хаос*. Из этого можно было бы сделать вывод о том, что целью всех дадаистских экспериментов (Фейерабенд называл свою школу научной эпистемологии «анархистским дада»), касавшихся звуковой поэзии, жеста, нарезок, языков зверей и т.п., был не поиск или уничтожение смысла, а его *создание*. Нигилизм мрачно указывает на то, что язык порождает значение «случайным образом». Хаотическая лингвистика радостно соглашается, добавляя при этом, что язык способен преодолеть язык, что языку по силам сотворить свободу из семантической тирании смятения и упадка.

Приложение Б.

Прикладной гедонизм

Члены банды Бонно были вегетарианцами и не пили ничего кроме воды. Их ожидал бесславный (хотя и колоритный) конец. Взятые сами по себе, овощи и вода — это прекрасно (чистый дзен); подобную трапезу следует расценивать не как мученичество, а как богоявление. Самоотрицание как радикальный праксис, порыв в духе левеллеров с налётом миллениаристской тоски — и это течение в левацкой среде имеет общие истоки с неопуританским фундаментализмом и моралистической реакцией нашего десятилетия. Новая аскеза — находящая своих сторонников в лице анорексичных поборников здорового образа жизни, тонкогубых полицейских социологов, нигилистов от стрейт-эджа из зажиточных районов, фашистских баптистов с южным говорком, социалистических торпедоносцев, презирающих наркотики республиканцев... и у всех них один и тот мотив: *ресентимент*.

Перед лицом фарисейской анестезии наших дней мы выстроим целую галерею в честь прародителей, наших героев, продолжавших борьбу против дурного сознания и не забывавших при этом веселиться по полной, — генофонд гениев, редкое и с трудом поддающееся категоризации племя, сонм великих умов не просто с точки зрения Истины, но с точки зрения *истины наслаждения* — серьёзность, чуждая обетов трезвости — их солнечная натура сделала их не инертными, но пронизательными, не затравленными, но яркими. Представьте себе Ницше с хорошим пищеварением. Перед нами не пресные эпикурейцы, но тучные сибариты. Отмеченные печатью духовного гедонизма, вставшие на Путь наслаждения, овладевшие искусством добродетельной жизни — столь же благородной, сколь и *возможной*, — постигшие великолепную глубину чрезмерной избыточности реальности.

Хорасанский шейх Абу Саид
Шарль Фурье
Брилья-Саварен
Рабле
Абу Нувас
Ага-хан III
Рауль Ванейгем
Оскар Уайльд
Омар Хайям
Сэр Ричард Бёртон
Эмма Гольдман

Пополните список своими героями

Приложение В. Цитаты замечательных людей

*А всё же, сдаётся, задумано Им,
чтобы праздно мы жили наш век.
Ибо если б Всевышний хотел, чтобыгнули мы спину,
То зачем бы Он стал создавать и вино?
А имей ты кувшин, наполненный сладким пьянящим вином,
Неужели пойдёшь ты горбатиться в поле и рвать себе жилы?*

— Джалаладдин Руми, Диван Шамса Тебризи

*Ты в зарослях поёшь. Есть хлеба каравай,
Диван стихов, вино (полнее наливай!),
И — простаку дурным покажется пускай —
Я просто жалкий пёс, коль оглянусь на рай!*

*Мой Друг, приди сейчас! Поверь, что «завтра» нет,
И всё, что есть у нас, — сегодняшний рассвет.
А завтра — догонять, покинув этот свет,
Людей, бредущих прочь уже семь тысяч лет.*

*В тот час, как звёздами поляна запестрит
И свежий ветерок в весенний сад влетит.
Блажен, кто сядет пить на пару с Другом
И разобьёт потом бокал о камень плит!*

— Омар Фицджеральд

История, материализм, монизм, позитивизм и все «измы» этого мира суть ветхие и ржавые орудия, в которых я более не нуждаюсь и которые не принимаю в расчёт. Мой принцип — жизнь, а концом мне станет смерть. Я желаю прожить свою жизнь предельно насыщенно, дабы объять её трагедию во всей полноте.

Ты ждёшь революцию? Моя личная революция вспыхнула давным-давно! Когда будешь готов (Господи, до чего же тягостно это бесконечное ожидание!), я не против составить тебе компанию на какое-то время. Но когда ты сделаешь остановку, я продолжу свой безумный и триумфальный путь к великому и царственному завоеванию ничто! Любое общество, построенное тобой, будет иметь свои границы. А за границами всякого общества будут скитаться неукротимые и героические бродяги, вынашивая свои дикие и девственно чистые помыслы, — те, кто не может помыслить жизнь, в которой нет места всё новым и ужасающим вспышкам бунтарства!

Мне предписано быть в их рядах!

А после меня, как и до меня, будут те, кто произнесут такие слова: «Итак, обратите свой взор на себя, нежели на ваших Богов или идолов, — объявят они ближним своим, — Найдите то, что прячется в глубине вас самих; извлеките это на свет; покажите себя!».

Ибо каждый, кто обратит свой ум внутрь себя самого и откроет таинства, что там сокрыты, подобен тени, окружающей всякое общество, что существует под солнцем! Любое общество дрогнет под решительным натиском язвительной аристократии бродяг, этих неприступных, не знающих себе равных повелителей идеала и покорителей ничто.

Итак, вперёд, иконоборцы, в атаку!

«И вот в предчувствии дурных знамений чернеет, умолкая, небо!»

— Рензо Новаторе, Аркола (Италия), январь 1920 г.

Пиратская отповедь

Капитан Беллами

Даниель Дефо, писавший под псевдонимом «капитан Чарльз Джонсон», оставил после себя труд, ставший первым образцовым историческим текстом, посвящённым пиратам: «Всеобщую историю грабежей и смертоубийств, учинённых самыми знаменитыми пиратами». Как сообщает Патрик Прингл в своей книге «Весёлый Роджер»[18], в пираты чаще всего подавались безработные, беглые слуги и бежавшие преступники. В открытом море классовые различия стирались молниеносно. Дефо приводит речь капитана Беллами, обращённую к капитану торгового судна, захваченного им в качестве трофея. Капитану торгового судна было предложено примкнуть к пиратам, но он отверг это предложение:

Приношу свои извинения в связи с тем, что мои люди решили не возвращать принадлежавший вам шлюп, ибо я нахожу ниже своего достоинства совершить хотя бы ещё одно злодеяние, если лично мне оно не сулит никакой выгоды; к чёрту шлюп, мы пустим его на дно, и там-то он вам пригодится. Вот и взгляд у вас заискивающий, как у щенка, и то же самое можно сказать о каждом, кто готов прогнуться и жить по законам, которые богатеи придумали ради своей безопасности; ибо этому трусливому племени не хватает мужества, чтобы как-то иначе отстоять всё то, что нажито ими путём обмана; так что к чёрту всех вас: к чёрту всю эту стаю лукавых гиен, а заодно и вас, их прислужников, позорное стадо малодушных тупиц. Эти прохвосты беззастенчиво поливают нас грязью, только разница между нами лишь в том, что они грабят бедных, оправдывая свои злодеянья законом, в то время как мы грабим богатых, а оправданьем для нас служит лишь наша отвага. Так неужели же вы предпочтёте прислуживать этой сволочи за мелкую монету вместо того, чтобы стать одним из нас?

И когда капитан ответил, что совесть не позволит ему нарушить законы, установленные Богом и людьми, Беллами ответил следующим образом:

У тебя совесть мерзавца и подлеца, а я — вольный принц, и у меня хватит власти, чтобы объявить войну целому миру, как если бы я командовал сотней кораблей и армией в сто тысяч голов — вот что мне говорит моя совесть. Впрочем, нет смысла спорить со всяким трусливым отродьем, готовым безропотно сносить любые унижения, пока его пинают по всей палубе по причине одной только скуки.

Званный ужин

Стивен Пёрл Эндрюс, «Наука об обществе»

Наивысшую форму устройства человеческого общества в рамках текущего социального порядка олицетворяет салон. Элегантное и утончённое общение между выходцами из аристократии не омрачается дерзким вторжением законодательных предписаний. За каждым признаётся полное право на выражение собственного мнения. И по этой причине беседа протекает совершенно свободно. Их яркие и насыщенные обсуждения не утихают ни на мгновение. Группы образуются сообразно степени их притягательности. Они то и дело распадаются и создаются вновь под влиянием всё того же, тонкого и всепроникающего, принципа. Взаимная почтительность свойственна всем классам общества, и наиболее совершенная гармония, какая только может быть достигнута в бесконечно сложных отношениях между людьми, царит именно в тех условиях, что вселяют ужас законодателям и государственным мужам, ибо ассоциируются с неизбежностью анархии и всеобщего смятения. И если приходится говорить о существовании норм этикета, они носят лишь рекомендательный характер и выступают в качестве общих принципов, следовать которым или игнорировать их каждый волен на своё усмотрение и сообразуясь лишь с самим или самую собой. Можно предположить, что в будущем, несмотря на все достижения прогресса и на все бесчисленные новшества, проистекающие из него, включая и те, зачатки которых мы наблюдаем уже и в нашем столетии, общество в целом, как и все отношения между людьми, всё равно не достигнет той степени чистоты и того совершенства, которые характеризуют некоторые слои нашего нынешнего социума в контексте отдельных форм общественных отношений.

Представим, что общение между посетителями салонов будет регулироваться особыми законами. Допустим, что количество времени, отпущенное каждому джентльмену на беседу с каждой леди, будет законодательно ограничено; места, на которых им предписано сидеть, будут определены с предельной чёткостью; предметы, которые им дозволено обсуждать, тембр голоса, равно как и вся сопутствующая жестикация, будут тщательно оговорены — исключительно с целью не допустить беспорядка и взаимного попрания привилегий и прав всех участников. В таком случае, можно ли вообразить себе что-либо, просчитанное с большей строгостью, что-либо, способное ещё вернее навредить общению между людьми, превратив его в невыносимое рабство и внеся в него безнадежную сумятицу?

Примечания

[1] (фр.) импульсивный, необдуманный поступок.

[2] См. цитату Рензо Новаторе в «Приложении В»

[3] Название Северной Америки, используемое индейскими народами в США и Канаде и экологическими активистами в силу того, что оно не нагружено колониальными коннотациями.

[4] Британия перешла на григорианский календарь в 1752 г. — после 2-го сразу наступило 14 сентября. К моменту перехода России на «новый стиль» (26 января 1918 г.) отставание от юлианского календаря составляло уже 13 дней.

[5] Гений места (лат.) — в римской религии дух-покровитель того или иного конкретного места (деревни, горы, отдельного дерева).

[6] «Human Be-In» — праздник, устроенный хиппи в парке «Золотые ворота» 14 января 1967 г. и послуживший прелюдией к «Лету любви», охватившему затем Сан-Франциско.

[7] Набег (англ. заимствование через франц. и итал. из алжирск. диалекта арабск. языка — изначально употреблялось в отношении набегов, которыми промышляли берберские пираты).

[8] Имеется в виду штат Виргиния (от лат. *virgō*, род. ~ ~ п. *virginis* «дева»), названный так английскими колонистами в честь королевы Елизаветы I, никогда не вышедшей замуж.

[9] Имеется в виду памфлет (1776) за авторством «крёстного отца США» Томаса Пейна, в котором он объявлял монархию противоестественным способом правления, заявляя, что каждый народ имеет полное право устроить у себя правительство, какое ему нравится. Публикация произвела фурор среди американских колонистов и стала важной вехой в деле окончательного разрыва с метрополией.

[10] B. R. Burg (1995). *Sodomy and the Pirate Tradition: English Sea Rovers in the Seventeenth-Century Caribbean*. New York University Press.

[11] Zora Neale Hurston (1938). *Tell My Horse: Voodoo and Life in Haiti and Jamaica*.

[12] Hugo P. Leaming (1977). *The Ben Ishmael Tribe: A Fugitive 'Nation' of the Old Northwest, in The Ethnic Frontier: Essays in the History of Group Survival in Chicago and the Midwest* (Grand Rapids, Mich.).

[13] «Семья Калликак: Учение о наследственности слабоумия» (1912) — книга американского психолога и евгеника Генри Годдарда; изучая генеалогию отдельно взятой семьи, он пришёл к выводу о наследуемости умственных признаков. Схожие исследования Ричарда Дагдейла были посвящены семье Джукс.

[14] Michael Taussig (1987). *Shamanism, Colonialism, and the Wild Man: A Study in Terror and Healing* (University of Chicago Press).

[15] Концепция, развиваемая некоторыми анархо-капиталистами и предполагающая непрерывное маневрирование (как в физическом, так и в политическом пространстве) и уклонение от любых притязаний со стороны государства. В наши дни находит своих приверженцев в лице энтузиастов криптовалют и прочих иллюзорных технологических решений.

[16] В терминологии Хакима Бея того периода, паутина (Web) — подпольная сеть сопротивления внутри тотальности интернета как такового (Net). См. эссе «The Net and the Web», не вошедшее в этот сборник. Текущую позицию автора касательно практических аспектов интернета см. в статье «Письмо к Валенсии» настоящего сборника (Chaoss/Press, 2020).

[17] боло-боло Р. М. (Радикальная теория и практика, 2014)

[18] Patrick Pringle (1953). *Jolly Roger: The Story of the Great Age of Piracy* (Courier Corporation).